

Я уверена, прочитав рассказы Михаила Цойрефа, читатель обязательно почувствует дыхание детства, юности, всего того, что называется «просто жизнь». Михаил пишет так ясно и осязаемо, что создается полное ощущение проникновения... в ваши жизненные пределы. Если это было не с вами, то вполне могло произойти с вашими родственниками или знакомыми. Автор рассказывает свою историю, но она — наша. И вспоминаются рассказы Довлатова... Свое, родное, без прикрас. Жизнь как жизнь.

Михаил Цойреф пишет рассказы, новеллы, эссе. По его признанию, любит темы личные, сюжеты житейские. И эта открытость и самоирония находит отклик у самых разных людей. Его произведения печатаются в России, Америке, Израиле.

Зоя ГРЯЗЕВА,
издатель, продюсер, генеральный
директор-главный редактор
телерадиокомпании «ТВ-Губерния»,
председатель Воронежского отделения
Союза журналистов России.

Я все детство, до пятого класса, провел в коммуналке на Инженерной угол Садовой. Один туалет на 8 семей. Иногда пьяненький дядя Коля Михайлов или пожарник дядя Петя засыпали на горшке и на стук не реагировали. Приходилось всякий раз с корнем вырывать крючок. А потом заново его приделывать. Он так и путешествовал по дверному косяку.

А вот у Алки в ее коммуналке на Марата дверь в туалет была устроена поудобнее — можно было в щелочку просунуть алюминиевую общепитовскую вилку или линейку и поддеть крючок, не вырывая его с мясом. Вот ведь умели же люди жить!

Ванна была тоже одна и существовала четкая очередность — раз в 8 дней ваннанаша. Зато на целый день. С утра в ней замачивали белье. Потом его кипятили на коммунальной кухне в оцинкованном баке — бабушка называла его «вываркой». А мыться где? А в ближайшей бане. На Некрасова. Два раза в неделю. Лет до четырех — с мамой, а потом уже с папой.

Баню помню. Крашенные голубой масляной краской запотевшие шкафчики в предбаннике. Пузатые, красные, как раки, расслабленные мужики, отдыхающие после парной на клеенчатых лавках прохладной раздевалки. Внутри сизый банный туман, мраморные скамейки, которые сначала обливали кипятком из банной шайки. И тяжелый дух хозяйственного мыла.

А на обратном пути обязательный ритуал — томатный сок «по-мужски» в гастрономе на углу Инженерной и Фонтанки, прямо напротив цирка. С крупной сероватой солью и гнутыми алюминиевыми ложками в стакане с водой. Впрочем, иногда папа пил пиво в ларьке возле бани, и я не мог понять, как можно променять волшебный томатный сок на это вонючее пиво. Честно говоря, до сих пор не понимаю.

После четвертого класса наш дом расселили — отдали его под общежитие цирка — он был рядышком, и мы получили неслыханную по тем временам роскошь — отдельную трехкомнатную квартиру на Пискаревке. Но осталось одно чудесное детское воспоминание от всего этого коммунального скотства: перед Новым годом все соседи выставляли в конец нашего широченного коридора (три детских трехколесных велосипеда проходили в ряд) посаженные на крестовины еще ненаряженные елки. Елки большущие, под стать четырехметровым потолкам — получался натуральный лес с луной — матовым плафоном в облаках табачного дыма. И пахло свежей хвоей.

А у школьного друга Андрюши Елагина, на Ракова, соседей было поменьше, и они были поинтеллигентней. Даже можно сказать, удивительная была квартира: антиквар, инвалид войны Макс Наумыч Зельдович с женой, простой и тихой деревенской женщиной, сценарист Костя Конопку со своей Галкой, тишайший, практически прозрачный, как приведение, детский врач-еврей, и зловредная, как гремучая змея одинокая пенсионерка Ксанка-поганка. А, забыл, еще у Андрюши был хомяк, который жил в большом тазу с опилками на дне. Правда, постепенно опилки скрылись под толстым слоем винных пробок, и мне кажется, что хомяк тоже начал потихоньку спиваться. А ванны у них не было.

Однажды зимой заскочил к Андрею, я часто у него бывал. Холодина в доме ужасная — отключили отопление. Андрюша в маминой вязаной

коффе грустно сидел посреди комнаты и курил свой «Беломор», поставив ноги в шерстяных носках на дымящийся алюминиевый чайник. Чайник стоял в центре таза, а вокруг, строго по часовой стрелке, как заведенный, бегал обезумевший хомяк. Забыл, как его звали.

Коридор у них был кривой и узкий, не в пример нашему, и метафизически заканчивался туалетом. Однажды детский врач оставил приколотое кнопкой к двери туалета обращение к соседям — я его читал и даже запомнил:

Будь умней, чем груднички,
Рви бумагу на клочки.
Повторяю сотый раз:
Засоряет унитаза...

Правда, что-то все же было нехорошо в той квартире. Сначала сын Макса Наумыча Костя, красавец-курсант мореходки, на несколько лет нас старше, разбился на мотоцикле. Макс Наумыч слег и уже практически не выходил из комнаты. Потом папа Андрея, архитектор, ушел из семьи, и мама, учитель литературы, чем дальше, тем заметнее становилась неадекватной. Потом настала очередь Кости Конопку — однажды он, как-то выйдя из очередного запоя, повесился в своей комнате. Я плохо его знал.

Да и сам Андрей писал тогда странные стихи:

Мне не взойти на вершину,
На сердце много ссадин,
Бросился б под машину,
Да жалко, шофера посадят.

Только Ксанка-поганка не менялась, как законсервированная. Все варила что-то в маленьких кастрюльках, ни на минуту не отходя от плиты, и утаскивала в свою комнату. А потом их дом, соседний с филармонией, просто пошел на капитальный ремонт, и все они потерялись из виду.

P.S. Почему-то вспомнил историю, которую любил рассказывать папа Андрюши Елагина. Он тогда, в самом конце сороковых, был молодым специалистом, выпускником архитектурного факультета ЛИСИ. И первым проектом их мастерской были всякие объекты строящегося атомного центра в Дубне. И вот приходит он со своим боссом, руководителем архитектурной мастерской, на какое-то серьезное совещание в Минсредмаше, на котором председательствовал руководивший советским атомным проектом академик Курчатов. Приходит в качестве носителя тубуса с чертежами и макета. Тихо сидит в углу, как раз позади академиков Тамма и Харитона. Курчатов, открывая совещание, оглядел присутствующих, заметил Андрюшиного отца и, кивнув на новенький ромбик на его парадном пиджаке, сказал: «Поздравляю, товарищи, среди нас, наконец, появился человек с высшим образованием!»

МОЯ ЖИЗНЬ СРЕДИ ТУРБИН

Гулял в воскресенье по Иерусалимскому музею и вот набрел на милый речной пейзаж Писарро. Прямо екнуло: до чего похоже на ленинградскую Первую ГЭС, — такой летний вид, если смотреть с другой стороны Обводного. Это точно мне знак, что надо написать о ней, об ушедшей этой

эпохе (хотя, уж сколько написал). Это ведь не просто какой-то там завод, это, знаете ли, кусок истории. Ну, во-первых, она, действительно Первая в СПб электростанция, и строить ее начали аж в 1886 году. И верите ли, когда я пришел туда по распределению в марте 1976-го, часть оборудования хотя и не работала (а кое-что еще и работало!), но стояла еще на своих местах — насосы фирмы «Братьев Зульцер» на литых львиных лапах, дымогарные котлы Бабкок-Вилькоккс, турбины Westinghouse и Лаваль, старинные электрические щиты...

И персонал. Люди. Стареющие, предпенсионные, трудившиеся там еще в довоенные пятилетки и в блокаду. Это была, к слову сказать, единственная электростанция, проработавшая всю блокаду. И сколько темных, уходящих в прошлое историй, хранили еще эти люди и стены.

Взять хоть человека, на место которого меня приняли — он как раз выходил на пенсию, и я у него стажировался. Дежурный инженер Королев. В поздние 30-е этот молодой рабфаковец и комсомольский вожак выявил и разоблачил здесь гнездо троцкистов и саботажников. Почти всех старых инженеров. Стал бескомпромиссным партторгом. А посмотришь — жизнерадостный, пузатый дачник, только и говоривший что про смороду и рассаду. О нем мне шепотом рассказывала старшая щитовая, мужа которой он исключал из партии в 39-м, и тот так и сгинул где-то в лагере.

Или вот, пожилая женщина-электромонтер со смешной фамилией Лилетка. Ее начальница, милейшая Зоя Егоровна, рассказывала, как однажды в 1942-м ее за панелями центрального щита управления (ЦЩУ) до синяков избил дежурный инженер, с которым она пребывала в романтической связи. Бедняжка плакала у нее на груди: «Он же обещал мне подарить все звезды с неба, а я всего только съела его паек...» Он давно уже помер, а она, безответная, все еще бегает по станции со стремянкой и пробником. Они все состарились на этой работе, и за ними тянулись из прошлого «хвосты», за которые они иногда дергали друг друга.

По возрасту я годился им в младшие сыновья, мне едва исполнилось 24 года, я был дежурным инженером — их начальником, и эти «пожилые» женщины меня любили и опекали. Дело еще и в том, что когда-то в этой моей должности и на этом самом месте в 1954-м начинал после демобилизации мой отец, и они его помнили таким же молодым. Я был для них как бы приветом из их ушедшей молодости. Старая директорская секретарша, из бывших, я еще успел, застал ее, говорила, что он единственный, кто умел целовать руку — никогда не наклоняясь к руке, а поднимая ее к губам. Вот же, поди знай, какие мелочи могут запасть в женское сердце. И вообще, там почему-то (исторически, что ли) почти весь дежурный персонал электроцеха и насосных были немолодые уже женщины. А может, просто всех мужиков поубивало в войну.

Хотя были и относительно молодые. Одну, Веру, незамужнюю щитовую лет сорока, и потому неуважаемую, тетки гнидили как могли. Любимая тема разговоров, от которой у Веры начинался нервный тик, обычно открывалась словами: «...а я *своему* наготовила борща / котлет / пельменей... А *мой-то* вчера / сегодня / третьего дня чего учудил...» Ну, и про детей, конечно. Впрочем, Вера сама тоже была чокнутая. В первый же мой рабочий год мне досталась новогодняя ночная смена 1977-го. На ЦЩУ тетки наготовили картошки с селедкой, холодца — праздновали. А перед самой пересменкой Вера заглянула ко мне в кабинет и, заговорщически подмигнув, сказала: «Михалгаврилыч,

а пошла ко мне после работы — спразднуем как следует, у меня и бутылочка есть...» Это мне-то.

А еще была у меня в смене одно время электромонтер Лида Бушуева. Некрасивая лимитчица с дряблым, в оспинах лицом. В ночную смену, обычно часа в два, стучала, потом просовывала голову в дверь и кокетливо спрашивала, можно ли пойти в душ помыться. Я, конечно, разрешал. Потом снова заглядывала — «ну, так я пошла, ладно?» Возвращалась обычно часа через полтора обиженная и надутая — к этому времени тет-ки звали меня пить чай на центральный щит. Молча глядела в сторону, а потом всегда говорила одно и то же: «В Ленинграде одни алкоголики и импотенты».

А еще там были заброшенные помещения и пыльные кладовки, забитые старой ломаной мебелью с остатками бронзовых накладок, времен «Акционерного Общества электрического освещения Петербурга». Так вот, когда после добрейшей Зои Егоровны ко мне в смену главным электриком пришел Коля К., он наладил производство деревянных пуговиц из выгнутых спинок ломанных (но самых настоящих) венских стульев красного дерева. Помните, в конце 70-х моду на деревянные пуговицы к женским зимним пальто? Так он намастрячил сделать их прямо на Центральном щите управления. Пилил тонкой фрезой, шлифовал, сверлил дырочки, потом выжигал детским приборчиком орнамент и, наконец, покрывал лаком.

Впрочем, у меня были свои приоритеты: я рыскал по станции и, где мог, свинчивал старинные бронзовые предметы. Например, литые массивные бронзовые шильдики со старых неработающих моторов всяких там Metropolitan Vickers — мы делали из них пряжки для ремней в джинсы. Получалось круто.

А еще была у меня электромонтер Зинаида Павлова. Правильная такая, наша рабочая косточка. Собранная, ответственная, с достоинством и от работы не бегала. Помню ее в ватнике и стеганных ватных штанах со стремянкой и ящиком для инструментов. Начальство не любила, но уважала, потому что всякое начальство от Бога. За чаем, если не издевалась над Верой, то любила поговорить о том, что теперь не так, как раньше. Дисциплины нет, порядок, люди советские потеряли. А вот раньше...

И часто с гордостью рассказывала, как в конце сороковых однажды проспала — будильник подвел — проснулась, вскочила с кровати и в чем была помчалась на работу. Бегом, через Литейный мост — она тогда на Металлическом работала. Успела включить станок по звонку, а тут мастер подошел. Строгий был, суровый, рявкнул грозно: «Павлова, почему без рукавиц?» А сам-то так по-доброму смотрит, по-отечески и в усы улыбается». Так до обеда в одной ночнушке у станка и простояла. Вот как к работе-то относились, не то, что эти. Хозяина на них нет.

Как же я забыл старшего машиниста Личаргина? Зимой всегда без шарфа — красная шея торчит из похожего на шинель пальто и погасшая «беломорина» в углу рта. Такой седой Павка Корчагин. Он съедал за раз несколько головок лука с черным хлебом. Всегда. А зимой еще и чеснок. И пил молоко. Ему было положено по «горячей сетке». Чесноком от него воняло так, что лаборантка Лера как-то сказала: «Личаргин, когда ты умрешь, на твоей могиле вырастет чеснок...»

Помню его спор с замначальника цеха — я как раз зашел на Щит управления, когда он, играя желваками, говорил деликатнейшему А.Я. Пасову: «Блоком команду я и Сталин!»

ЗДОРОВЫЙ ИНСТИНКТ

Новую подстанцию 220 КВ построили на нашей территории не так чтобы далеко, но очень неудобно, и ходить туда нужно было раз в смену в обход. Примерно полчаса ходу в один конец. Днем еще ладно, но ночью, а особенно зимой или в дождь, было в облом. Хотя, если идти напрямик, было вдвое короче, но темно и почти без дороги.

Однажды зимой, часа в три ночи, и так уже хотелось спать, что решил срезать, и пошел назад по узенькой тропинке среди сугробов по заваленным снегом пустырям. Есть такие постиндустриальные пейзажи — голые ухабистые заснеженные поля, где из земли торчат обломки каких-то конструкций — как разбомбленная промзона, присыпанная снегом. Короче, иду — ватник, валенки, рукавицы монтажные меховые — большие такие, мех внутри, снаружи брезент. Тропинка узенькая, петляет. Уже впереди видны силуэты цехов, и осталось только обойти сзади здание рабочей столовой.

Как вдруг... Сначала я увидел большую черную собаку, грызущую что-то прямо на тропинке. В десяти шагах по ходу. И сразу же еще две, и еще... Большая стая бродячих собак, роющих снег у заднего выхода из столовой, среди мусорных баков, и раскиданной повсюду мерзлой картофельной шелухи. Я замер. Черная собака подняла голову, шерсть у нее на загривке встала дыбом, она оскалилась и тихо зарычала. И вслед за ней одна за другой зарычали остальные. Потом черная припала на передние лапы, и я понял, что сейчас бросится. Куда мне деваться с этой узкой тропинки? Бежать назад? Догонят. Вокруг ни души. Даже палки или камня не видать под снегом...

В общем, выяснилось, что у меня есть здоровый инстинкт. Я, кажется, неожиданно для самого себя, побежал. Что есть мочи. Прямо на них. С воплем, размахивая руками в больших рукавицах. О, «я был страшен в этот миг. Как барс пустынный, зол и дик...» Собаки разом затихли, кажется, я их удивил. И через секунду, как раз я уже почти добежал до них, они вдруг прыснули в разные стороны. Я, не оглядываясь, вопя и махая руками, так и добежал до своих дверей.

А мог бы и не добежать!

ТИХИЙ ДОН

*Трансвааль, страна моя,
Ты вся горюшь в огне...*

Из песни времен
Англо-бурской войны

Помню, в шестом, что ли, классе, когда читал Луи Буссенара про Англо-бурскую войну, конечно же, был на стороне отважных буров, представлял их себе такой особой породой людей — помесью суровых исландских китобоев с голландскими шкиперами из советских фильмов. Потом, до самого отъезда из СССР, вообще сомневался в их существовании. Как, впрочем, и в существовании всего остального заграничного мира, обитавшего, возможно, исключительно в моем воображении. Ну, как Атлантида, гриновский Зурбаган или там анекдотический Гондурас. В общем, могу теперь сказать, что они существуют и действительно такие — помесь

голландских шкиперов с исламскими китобоями. Самая чистая северо-европейская порода. Здоровенные красавицы — несколько веков естественного отбора на фоне здорового климата и хорошего питания. И еще зулусы, конечно. Тоже существуют. Но те, правда, как раз изменились — с копьями не бегают, теперь при власти. Есть даже в хороших очках и костюмах.

В общем, Дон был такой. Дон — наш южноафриканский гид. Ах, какое это было путешествие! Мы ездили небольшой группой с групповодом, отвязной израильтянкой и местным сопровождающим. Суровым и немногословным рейнджером — африканером. Так они себя называют, местное белое население, буры. Лет 20 назад он был снайпером в родезийской армии. Ранчо, черные слуги, жена красавица и маленькая дочка в цветущей богатой стране. Потом власть демократическим путем перешла к черному большинству, и началось. Вернулся однажды из армии домой, и нашел жену и дочку зарезанными. Бросил службу, крепко запил, чтобы не сойти с ума. Начал стремительно опускаться. Через год из соседней Южной Африки приехал брат. Сказал: «Ты едешь со мной в Йоханнесбург и начинаешь новую жизнь или остаешься здесь и сдохнешь как собака». Уехал с братом. Теперь снова женился, снова родил дочь. Но за все две недели путешествия с нами не улыбнулся ни разу.

Его обязанностью было нас оберегать. Он и оберегал. Мгновенно вычисляет карманников и технично оттеснял их от группы. В общем, за всю поездку с нами не случилось ничего криминального. И при внушительном росте он ухитрялся быть незаметным. Потом уже, в сафари, было интересно наблюдать за его походкой и повадками следопыта. Иногда вдруг присаживался на корточки, что-то разглядывая на земле, а рука при этом непроизвольно уходила в сторону, как бы опираясь на приклад невидимой винтовки. Так было, когда со стороны недалекой границы с Мозамбиком услышали выстрелы браконьеров.

Про дневное сафари все знают (вообще, после Хемингуэя писать об этом просто невежливо). Ну, или, по крайней мере, все себе представляют слонов и важных жирафов, ленивых львов и наглых обезьян. Интеракций со зверьем в общем-то немного, хотя до слона можно доплунуть, а до львицы, спокойно идущей мимо джипа, можно дотянуться рукой — если, конечно, она у тебя лишняя. Для справки скажу, что львы не нападают только потому, что видят тебя и джип как одно большое, больше их самих, целое. Но не дай Бог из джипа при них выйти. Вот, например, когда мы наблюдали за отдыхающим семейством львов, метров с сорока, у одного из наших упала на землю переброшенная через борт открытого джипа ветровка. Он хотел выйти — всего-то на секунду — подобрать курточку, но черный водила истерически заверещал, и чтобы все-таки забрать то имущество, наш водила по связи вызвал еще два джипа, и они, подъехав, встали так, что образовали собой закрытый треугольник, в центре которого оказалась несчастная курточка. И вот только тогда он решился открыть дверцу машины.

Хотя, пожалуй, был еще один потрясающий запомнившийся момент, когда на одной тропинке в саванне слева от нашего джипа, совсем рядом, увидели огромного орла, только что поймавшего молодого трехметрового питона (babypythonsnake). Орел прижал его лапами к земле и яростно рвал клювом мясо из середины, а питон еще извивался и бил хвостом. Мы остановились, тогда орел попытался взлететь, задевая кусты и держа добычу в когтях, но питон был так велик, что это удалось только с пятой,

кажется, попытки, и он тяжело и низко полетел в сторону солнца. А в это самое время с другой стороны тропинки, справа, огромный черный слон, тряся головой, сосредоточенно ломал толстенное дерево, и оно угрожающе трещало.

Но от этого не было особо страшно, потому что Дон объяснил, что слоны никогда не нападают вот так сразу. У них, у слонов, это целая церемония. Сначала они поворачиваются к тебе, трубят и раздувают уши — это чтобы казаться еще больше. Потом бьют копытом в землю, поднимая пыль, затем делают несколько торопливых шагов в твою сторону, как бы атакуя, но тут же пятятся, и так пару раз. И только после этого прижимают уши и уже молча бегут на тебя. Вот тогда наверняка все. Поздно пить боржоми. Догонит.

Однако это все днем. Ночью все по-другому. Ночью темно. Но сначала вечер. Неистовый закат. Как пожар в саванне. И ты не в состоянии замечать ничего, кроме этого апокалиптического заката и черных силуэтов зонтичных акаций на фоне расплавленного червонного золота высокого африканского неба. А потом, как занавес в театре, на саванну опускаются сумерки. И в этом странном безмолвии к развесистому дереву перед нашей машиной прилетела большая стая каких-то солидных синевелых птиц. В полной тишине они опустились на землю, а затем одна за другой через абсолютно одинаковые интервалы времени стали взлетать и усаживаться на ветки в строгом порядке, как диковинные ноты. Через несколько минут, точно к наступлению полной темноты, они в молчании расселись на ветках, и все исчезло в африканской ночи.

Дальше мы медленно ехали по ночной саванне. Дон сунул руку под сидение, достал прожектор и дал его мне. Так и ехали — джип наощупь пробирался вперед, а я светил вбок, сканируя ночь. Прожектор выхватывал из темноты какие-то кусты, темные деревья, и вдруг — глаза. Огромные, горящие, как фонари, совсем близко, и еще, и еще. Вы видели ночью глаза кошки в свете ваших фар? А теперь вообразите стадо Буффало или одинокого носорога. Или вышедших из воды гиппопотамов, с глазами как блюдца...

В аэропорт, в Йоханнесбург, выезжали утром прямо из заповедника Шеншенгени. К завтраку Дон вышел важным и преисполненным всяких чувств. Он нарядился в одежду своего клана — по отцу-шотландцу он принадлежал к Макэвенам. Гидесса-израильтянка, много лет прожившая в Претории и хорошо знавшая Дона, сказала, что это знак уважения. При всей своей суровости он сентиментален. Привязался к нам, значит.

P.S. И, все-таки, нет ничего грациознее бегущего жирафа. Если только небольшое стадо жирафов. И нет ничего величественнее стада слонов, на закате входящих в Замбези на водопой.

